

Максим Горький

Рассказ об одном романе



Максим Горький

Рассказ об одном романе

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=665415

Аннотация

«Наконец гости уехали, с ними уехал муж; прислуга, утомлённая суетою шумных дней, стала невидима, и весь дом как будто отодвинулся в глубину парка, где тишина всегда была наиболее стойкой, внушительной и всегда будила в душе женщины особенно острое желание прислушиваться к безмолвной игре воображения и памяти...»

Содержание

Максим Горький

Рассказ об одном романе

Наконец гости уехали, с ними уехал муж; прислуга, утомлённая суетою шумных дней, стала невидима, и весь дом как будто отодвинулся в глубину парка, где тишина всегда была наиболее стойкой, внушительной и всегда будила в душе женщины особенно острое желание прислушиваться к безмолвной игре воображения и памяти.

Женщине – лет двадцать семь; она маленькая, стройная, светлая, у неё овальное, матово-бледное лицо; глаза, цвета морской воды, несколько велики для этого лица, а выражение глаз – старит его; осторожно прикрытые длинными ресницами, они смотрят на всё вокруг недоверчиво и ожидающе.

Есть такие женщины, они всю жизнь чего-то ждут, в девушках требовательно ждут, когда их полюбит мужчина, когда же он говорит им о любви, они слушают его очень серьёзно, но не обнаруживая заметного волнения, и глаза их, в такой час, как бы говорят:

«Всё это вполне естественно, а – дальше?»

Было бы ошибкой назвать такую женщину рассудочной и холодной. Выйдя замуж, она честно любит мужа и терпеливо ждёт, когда же, наконец, вспыхнет ещё какая-то, может быть «бесчестная», но иная любовь? Такие женщины неред-

ко уходят от мужей с другими мужчинами, оставляя мужу коротенькую записку карандашом и ровным почерком:

«Прости меня, Павел, но я не могу больше жить с тобою».

«Прости меня» – они пишут не всегда. С другими мужчинами они ведут жизнь иногда весёлую и «бурную», иногда – тяжёлую, непривычно нищенскую, но в обоих случаях ждут ещё чего-то. Говорят они мало, неинтересно, философствовать вслух – не любят и относятся к драмам, неизбежным в их жизни, со спокойной брезгливостью чистоплотных людей. Детей родят неохотно. После всех значительных моментов их жизни странные глаза таких женщин смотрят так, как будто безмолвно спрашивают:

«И – только?»

Затем глаза темнеют, хмурятся упрямо, договаривают:

«Не может быть!»

И снова такая женщина чего-то ждёт, ждёт до той поры, пока уже ничего не нужно, кроме хорошего, крепкого сна или утраты памяти другим путём.

Одной из таких мало приятных женщин и была героиня романа, о котором я рассказываю, потому что не умею написать его так хорошо, как хотел бы.

Окутав плечи пуховым пензенским платком, она вышла на террасу дачи и села там в плетёное, скрипучее кресло. Багровые листья клёна и жёлтые берёз лежали у ног женщины на трёх ступенях террасы и на полукруге площадки перед нею. Между деревьев парка просвечивало красноватое небо,

и все вокруг обняла прозрачная, чуткая тишина осени, как-то особенно музыкально, умело и необходимо подчёркнутая струнным звоном синиц. В жемчужном зените неба неподвижно застыл бледный круг луны.

Прикрыв глаза, женщина занялась уборкой души, – гости и муж насорили там множество слов о Толстом, охоте на уток, о красоте старинных русских икон и неизбежности революции, об Анатоле Франсе, старом фарфоре, таинственной душе женщины, о новом и снова неудачном рассказе писателя Антипы Фомина и ещё о многом другом. Всё это нужно было вымести, выбросить из памяти, и лишь очень немногое требовало, чтоб женщина внимательно и ласково подумала о нём.

Поперёк одной из половиц террасы глубокий след удара острым, – это писатель Фомин рубил змею топориком для колки сахара. Неуклюжий, тяжёлый человек, в эту минуту он был ловок, точно кошка, и так воодушевлён, как будто возможность убить змею явилась для него долгожданной радостью. Он так сильно ударил, что топориче переломилось.

В тот же день вечером, здесь, на террасе, он читал начало своего романа о человеке, который усердно старался понять, хороший он человек или плохой, и, наделав немало дурного и хорошего, так и не понял ничего, а потом умер нудно и печально, одинокий, чужой сам себе.

Но о его смерти писатель рассказал, читал же он только четыре первые главы романа, в них описывалось, как моло-

дой человек Павел Волков приехал в поместье своей сестры и невзлюбил её мужа, грубого до цинизма, считавшего себя энергичным культуртрегером. Эти главы показались женщине скучными, но хорошо был описан летний вечер и настроение героя, который, сидя в парке на скамье и стараясь уязвить женщину, ушедшую от него с другим, безуспешно пытался сочинить злые стихи и уже сочинил две строчки:

Луна лобуется игрой лучей своих
И лжёт, как женщина, влюблённая в двоих.

А дальше у него ничего не слагалось, и он очень сердился на себя за свою бездарность.

В этот приезд Фомин более настойчиво, чем всегда, ухаживал за нею, интересно говорил о людях и своём одиночестве среди них, но она уже знала, как редко встречаются мужчины, которые, говоря с женщиной, приятной и желанной, умели бы молчать о своём одиночестве в мире; она знала, что почти нет людей, которые любили бы хвастать своим счастьем. И чем внимательнее слушала она писателя, тем более неясным казался он ей и наконец внушил странное впечатление: это – не человек, а сцена, на которой непрерывно разыгрывается бесконечная, непонятная пьеса. Внешне Фомин был достаточно характерен и выгодно выделялся среди людей; плотный, некрасивый, скуластый человек, очень рассеянный, детски небрежный к себе, он смотрел на неё грею-

щим взглядом серых, но мягких глаз, говорил глуховатым, но гибким голосом и, чувствуя этот свой недостаток, уснащал речь богатой мимикой, обильными жестами, даже иногда притопывал ногами, как пианист, нажимающий педали.

И в то же время его как будто не было, а была толпа разнообразных мужчин, женщин, стариков и детей, крестьян и чиновников, все они говорили его голосом, противоречиво и смешно, глупо и страшно, скучно и до бесстыдства умно, а – где был сам Фомин среди них и каков именно сам он, – трудно понять.

О своей любви к ней он говорил этой женщине наивными словами юноши, который впервые почувствовал власть силы, преображающей душу, а через несколько дней он же говорил об этом с цинизмом человека, который уже не верит сам себе и в последний раз хочет испытать: не поможет ли ему увлечение женщиной усыпить едкое недовольство самим собою?

Ей было очень ясно, что он не наивен и не циник, не добр и не зол, не так умён, как талантлив, и она чувствовала, что истоком недовольства собою для Фомина служит его неудовлетворённое честолюбие. В конце концов у неё образовалось недоверчивое и осторожное отношение к нему: это человек, которого, в сущности, нет; хотя физически он существует, но того основного, что можно было бы назвать его душою, душой Фомина, окрашенной хотя бы и пёстро, радужно, а всё-таки в какие-то свои цвета, такой души у этого

человека, видимо, нет. Это – не человек, а передвижной театр, в котором и режиссёр и все артисты воплощены в одном лице. Очень интересно, а – ненадёжно, непрочно.

Женщина улыбнулась, глядя в глубину парка, – забавная мысль смешала её: ведь невозможно любить в одно и то же время целую толпу разнообразных мужчин, хотя, может быть, очень интересно отдаваться многим, воплощённым в одном лице. Но вообще женщина, если она не хочет искалечить себя, не должна любить писателя, не должна. Покончив на этом с Фоминым, она ощутила чувство досады против сочинителя, но это чувство быстро сменилось недоумением.

Прищурясь, она смотрела в парк; там, между ветвей и стволов берёз, багровели разнообразные фигуры, чётко вырезанные на фоне вечерней зари, а на скамье сидел человек в белом костюме, в шляпе панама, с тростью в руке.

«Это – кто же? – спросила она себя. – Ведь – все уехали. И – в белом костюме, не по сезону. Все наши – уехали», – ещё раз напомнила она себе.

Но было неприятно ясно, что один остался. А может быть, это незнакомый зашёл в парк и сидит, любуясь отблесками зари на воде пруда? Но почему он в летнем костюме? Вот он чертит по земле тростью, и женщине показалось, что слышно, как шуршат сухие листья. Через несколько минут решила послать горничную, посмотреть: кто этот человек?

Встала, – заскрипело кресло; звук очень ясный в тишине, но человек не услышал его. Тогда женщина сама спустилась

со ступенек террасы на холодную землю, пошла по дорожке и заметила, что она неестественно быстро подошла к человеку, а его фигура не стала вблизи ни крупнее, ни отчётливее, оставаясь такою же, какой она издали увидела её.

Это был, разумеется, один из бесчисленных фокусов вечернего освещения, но более странным было то, что человек этот, красновато освещённый огнём зари, не давал тени. И листья, которые он сгребал своей тростью, не шуршали, более того – они не двигались, когда конец трости касался их. Затем женщина почувствовала, как будто нечто, неосвязаемо обняв её, кружит в медленном вальсе.

Человек поднялся встречу ей, вежливо, но как-то неумело снял шляпу, поклонился и спросил негромким, сухо шелестящим голосом:

– Простите, – это вы и есть?

Человек молодой, элегантно одет, но довольно бесцветный, с длинным сухим лицом, голубоглазый, с маленькой русой бородкой. Что-то неестественное, полупрозрачное, стеклянное было в его неподвижном лице. Он не напомнил женщине никого из её знакомых, но казалось ей, что она видит его не впервые.

– Странный вопрос, – сказала она, усмехаясь. – Конечно, это – я.

– Да?

Человек тоже механически усмехнулся, от этого лицо его сделалось жалким.

– Значит, – вы и есть та женщина, которую я должен встретить?

Он тотчас же добавил, беззвучно ударив тростью по своей ноге:

– Впрочем, я не уверен, должен ли встретить здесь женщину...

Женщина пристально смотрела в глаза его, – такие глаза бывают только на портретах, необходимо некоторое усилие воображения, чтоб признать их живыми. Видимо, этот человек очень застенчив, и, вероятно, тут какая-нибудь конспирация, – это один из таинственных друзей мужа или Веры Ивановны скрывается от жандармов, и вообще – это политика. Но как нелепо нарядили его!

– Вы от Веры Ивановны? – спросила женщина, он ответил тоже вопросом:

– Она тоже участвует в романе?

– В романе? Что вы хотите сказать?

Человек мотнул головой.

– Я не помню там женщины с таким именем...

– Где – там?

– В романе.

«Сумасшедший?» – мелькнула у неё догадка, и, плотнее кутаясь в платок, она сказала суховато:

– Я не понимаю: почему, о каком романе говорите вы? И, мне кажется, я имею право спросить: кто вы?

Человек взглянул на неё пристально, его нарисованные

глаза выразили явное недоумение, но он тотчас же улыбнулся и согласно кивнул головою.

– Разумеется, это ваше право. Я думаю, что с этого – вот с этой встречи – и начинается роман. Должно быть, так и предназначено автором: сначала вы относитесь ко мне недоверчиво, даже неприязненно, а затем... Я не знаю, что будет дальше, вероятно, для меня всё это кончится новой драмой...

«Сумасшедший!» – решила женщина, внимательно слушая медленную, бесцветную речь и следя за его лицом, – лицо становилось как будто живее, менее плоским. Сама же она чувствовала себя очень странно, как будто засыпала, и у неё явилось желание слушать его молча, не прерывая.

– Меня крайне удивляет, что вы спрашиваете о романе, – продолжал он. – Скажите: ведь вы не мистифицируете меня, нет? Вы – та самая женщина, вы ведь имеете определённое отношение к Фомину, точнее – к его роману, да?

Женщина едва удержала смех, моментально сообразив:

«Ах вот что! Это – Фомин. Он узнал, что я буду одна, не мог приехать сам и затеял какую-то мистификацию...»

– Да, – сказала она, улыбаясь. – Я знаю этот роман. И – что же?

Человек ещё более приятно ожил, говоря:

– О, тогда всё хорошо! Но однако я не думал, что это так трудно. – И, почти любезно, он добавил, тоже улыбаясь:

– Конечно, вы – та самая женщина, иначе, я, наверное, и

не мог бы встретить вас...

– Становится свежо и сыро, – может быть, мы пойдём в комнаты? – предложила она.

– Благодарю вас, – сказал человек, кланяясь и улыбаясь.

Странно улыбался он, – улыбка являлась на лице его как будто не изнутри, а извне. Шёл удивительно легко, осенние листья но шуршали под его ногами в белых ботинках. Но самым странным было то, что фигура его не давала тени, тогда как пред женщиной ползла, толчками и покачиваясь, длинная тень, ложась на траву то справа, то слева узкой дорожки.

«Как это он делает?» – думала она, искоса наблюдая за ним, и ей казалось, что он стал неестественно плоским.

– Давно видели вы Фомина?

Взглянув на неё с явным недоумением, человек ответил:

– Года два тому назад...

«Шутит он – скучно», – отметила женщина.

– Вы одеты не по сезону легко...

– Это – Фомин, – ответил он, пожав плечом. – Ведь я должен был действовать летом...

Ей становилось всё более неловко и скучно.

– Итак – кто же вы? – спросила она ещё раз и заметила, что этот вопрос, так же как вопрос о Фомине, снова вызвал его недоумение. Сильно хлестнув тонкой тростью по воздуху, – причём она не услышала свистящего звука, – человек натянуто и некрасиво усмехнулся. – Странно, что вы спрашиваете об этом, – забыли? Позвольте напомнить. Я – Павел Волков.

Павел Нилович Волков, сын инженера и тоже гражданский инженер, человек бездеятельный, неудачник, мне тридцать два года, я богат. Шесть лет тому назад женился по любви, через четыре года жена ушла от меня, оставив записку карандашом: «Прости меня, Павел, но я не могу больше жить с тобою». Теперь она живёт где-то на Кавказе, но, кажется, я не должен встретиться с нею, а впрочем, это мне неизвестно. И это всё, что я знаю о себе, остальное ещё не дописано, не создано...

Он говорил, точно паспорт читая, и только в конце слов женщина услышала что-то близкое возмущению или досаде.

Сама она, тоже чувствуя досаду против него, думала:

«Если это не сумасшедший, воображающий себя героем неудачного романа Фомина, так это человек бездарный и неумный».

Входя на террасу, она спросила его:

– Как вы делаете, что у вас нет тени?

Павел Волков удивился:

– Зачем нужна мне тень? И разве вы, во сне, видите тени?

А ведь это – как сон!

– Что – как сон?

– Да – вот это, наше с вами бытие, – бытие людей, искусственно созданных для развлечения людей реально существующих.

Он сказал это так просто, что женщина подумала: «Кажется – я ошибаюсь, это очень тонкий, очень искусный актёр».

Так – понятнее, почему именно его послал ко мне Фомин».

– Ах вот что! – воскликнула она, смеясь. – Вы – не реальный человек?

И – смутилась, опустила глаза, – этот человек смотрел на неё с искренним испугом, и казалось, что его колеблет, изгибает ветер, неосязаемый для неё, неестественные движения его тела напоминали именно колебания ткани на сквозном ветре.

– Как странно, что вы спрашиваете об этом! – говорил он. – Право же, мне кажется, что вы мистифицируете меня. Или вы созданы Фоминим ещё более небрежно, чем я, и потому забыли ваше назначение, вашу роль? А может быть, вы реализовались каким-то способом, недоступным мне? Или же Фомин окончательно дописал вас, забыв обо мне? И вы уже совершенно законченный образ?

«Нет, это очень хороший артист», – думала женщина, слушая его тревожную речь. Она чувствовала себя в состоянии человека, который грезит против воли своей и должен преодолеть это состояние.

– Вы молчите? – слышала она. – Мне приятнее думать, что молчите вы потому, что вспоминаете, да?

Женщина кивнула головой.

– Позвольте помочь вам вспомнить начало романа...

– Я – знаю его, – сказала она.

– Тогда – что же?

Помолчав несколько секунд, Павел Волков тихо восклик-

нул:

– Ага-а! Я понимаю: очевидно, Фомин не успел связать вас со мною... Или он – для вас – заменил меня другим? Но – самое удивительное во всём этом то, что вы – не знаете вашего отношения ко мне и вашей роли в романе.

Наступил момент, когда в женщине вспыхнуло любопытство и, победив её смущение, тотчас подсказало ей, как она должна держаться.

– Нет, – сказала она, – я плохо понимаю вашу роль. Расскажите о себе...

– Но я уже сказал всё, что знаю.

– Вы – как бы – не существуете?

– О, нет! – возразил он с досадой. – В том-то и дело, в том и несчастье, что я – существую. Для вас – до поры, пока этого хочет Фомин, но я существую уже и независимо от него...

– Понимаю: как Гамлет или Дон-Кихот существуют независимо от их создателей...

Павел Волков поклонился, говоря:

– Приблизительно. Но разумеется, Фомин – не Сервантес и тем более не Шекспир. К тому же я не закончен. Я вообще в смешном положении. Вы только представьте, – я сидел на скамье, в аллее парка, вот уже два года. Два года! Согласитесь, что это – ужасно нелепо. Дни, ночи, утренние зори, закаты солнца, пыль, зной лета, дожди осени, снег и метели зимы, а я – всё сижу, жду. Мимо меня изредка проходят люди, реальные люди, они говорят о чём-то неинтерес-

ном, ненужном; какой-то рябой человек в чесунчовой паре соблазнял толстенькую даму тем, что у него в парниках великолепно вызревают ананасные дыни и, между словами, кусал ей ухо, совершенно как лошадь, а она – взвизгивала тихонько. Страшно глупо всё, надоело, бессмысленно! Сидишь и думаешь: как невероятно скучны, глупы и расплывчаты реальные люди, и до какой степени мы, выдуманные, интереснее их! Мы всегда и все гораздо более концентрированы духовно, в нас больше поэзии, лирики, романтизма. И как подумаешь, что мы, в сущности, бытийствуем только для развлечения этих тупых, реальных людей...

Говорил он тоном человека, который искренно оскорблён, и его сухое лицо стало как будто мягче, симпатичнее, хотя это изменение удобно объясняется тёплым сумраком комнаты.

– Я, разумеется, плохо знаю, что такое реальные люди и вообще – что такое реальность? Например: эта комната и всё в ней – это реальность или тоже, как я и вы, что-то другое, эманация Фомина, плод его воображения?

Женщина осторожно коснулась рукою своих глаз, посмотрела вокруг и сказала тихонько:

– Всё это – очень интересно, но несколько утомляет меня...

– Конечно, должно утомлять, – согласился Павел Волков. – Но, знаете, за два года бездействия и неподвижности, ожидая, когда Фомин dokonчит меня и пустит в дело, в

жизнь, для развлечения людей, я как-то уплотнился, что ли, окреп и, кажется, тоже, по структуре моей, стал очень близок к реальному существу. Я почти реален, да...

Женщина почувствовала себя плохо, она уже хотела сказать об этом странному, несомненно безумному гостю, но в это время в двери из внутренних комнат явилась горничная и встала, как в раму, открыв рот, выкатив глаза, точно окунь, пойманный крючком удочки.

– Что вам, Глаша?

– Вы звали?

– Я? Нет.

– Извините. Мне послышалось – вы говорите...

– Ну да, говорю! Разве вы не видите...

Мигая, женщина поднялась на ноги, оглянулась, – Павел Волков, стоявший у окна, спиной к нему, – исчез.

Мимо тусклых в сумраке стёкол медленно падал лист, в зеленоватом воздухе недвижно висели ветви клёна. Долго, пристально, до боли в глазах женщина смотрела на окно, смотрела так упорно, что ей, наконец, показалось, будто стёкла сверху донизу разрезаны тонкой, тёмной нитью.

– Да, – сердито сказала она, – я говорила... я звала вас! Принесите чаю.

А когда горничная ушла, она задумалась:

«Кажется, это называют галлюцинацией зрения и слуха, сложной галлюцинацией. Отчего бы это у меня? Странно. Очень странно».

Села в кресло, вытянув ноги, накинула на них плед.

«Об этом надо написать Фомину, пусть обогатится ещё одной темой. Хотя это не его тема».

Она чувствовала, как бессвязно, торопливо стучат мысли в её виски, и ей было приятно, что это наваждение – кончилось.

– Да, так вот я говорю, – раздался знакомо шелестящий голос, человек стоял у окна и пальцем одной руки гладил свой висок, а в другой качал шляпу.

– Позвольте! – раздражённо сказала женщина. – Где вы были, когда вошла горничная?

Павел Волков удивлённо расширил глаза, шагнул к ней раз, два, – она быстро, отталкивающим жестом протянула руку встречу ему.

– Где я был? – переспросил он, остановясь и угловато подняв плечи. – Я был тут, здесь. А-а, вы перестали видеть меня? Так это потому, что я повернулся к вам боком, а я ведь – как игральная карта, как портрет, – вы забыли? Но ведь вы сами такая же...

– Нет, – возмущённо сказала она, – нет!

Человек вздохнул, говоря:

– Однако какой у вас трудный характер!

Он сказал это тоже раздражённо, как бы вторя ей, но черты лица его оставались неподвижны, действительно напоминая лицо портрета. Иногда на этом матовом лице являлись и исчезали тени, почти не изменяя его, – являлись они так

же извне, как его неприятная улыбка. И было в нём странное сходство с отражением на воде, чуть колеблемой ветром.

«Как делает это он?» – догадывалась женщина, сосредоточенно разглядывая его, и вдруг почти приказала:

– Встаньте немного левее!

Взглянув на неё, он бесшумно подвинулся, встал против зеркала, но – не отразился в нём, стекло, едва заметно потемнев, не показало его серую, в сумраке, фигуру.

«Ясно, это – галлюцинация», – решила женщина.

А Павел Волков говорил:

– Очень трудный характер у вас. Я ведь понимаю, что вы снова не верите, не решаетесь принять меня за то, что я есть. И я не думаю, что ваше отношение ко мне входит в план Фомина. Да наконец...

Павел Волков нелепо закачался, струясь вверх.

– Наконец – я чувствую себя достаточно реализованным для того, чтобы продолжать неоконченный роман Фомина за свой личный страх, так сказать, на свои средства. Я больше не хочу бездействия и ожидания, я не могу торчать во всякую погоду на скамье, в парке, и слушать разговоры о дынях до конца дней мира сего, до полного разрушения всех форм материи и всех эманации её. Этот Фомин создал меня и – забыл обо мне. Я слышал, что так поступает бог по отношению к реальным людям, но у бога, вероятно, есть солидные мотивы для оправдания его... столь мало понятных опытов. А ведь Фомин, насколько я понимаю, обыкновенный, занос-

чивый и самонадеянный человек, неумело подражающий богу в его шахматной игре людьми с кем-то. И, знаете, мне кажется, что этот Фомин – сумасшедший! Посмотрели бы вы, как он ведёт себя, оставаясь наедине сам с собою! Он наполняет комнату созданиями воображения своего и, окружённый тесной толпой призраков, таких же безумных, как сам он, не знает, что ему делать с ними. Бредовый человек! Я много думал о нём в эти два года полупризрачной жизни моей, и меня поражает, до какой степени честолюбивого безумия дошёл он. Вы только подумайте: Фомин, наверное, хорошо понимает, что и сам он и все подобные ему люди искусства невероятно путают и осложняют жизнь, наполняя её своими выдумками, а ведь, в конце-то концов, что такое все эти выдумки? Лица и факты реальной действительности, искажённые сообразно субъективным вкусам и наклонностям фокусников слова. И – более того, все они сами являются тоже чьей-то выдумкой для развлечения реальных людей, но – не понимают этого, представьте – не понимают! В сущности, нет уродов, над которыми реальные люди издевались бы так жестоко, как издеваются они над творцами выдумок, посеянных в полях действительности, якобы для украшения её. Разве не кажется вам, что жизнь была бы проще, удобнее, менее противоречива, если б в ней не было всех этих Дон-Кихотов, Фаустов, Гамлетов, а? Подумайте-ка над этим, подумайте!

Павел Волков произнёс эту длинную речь очень оживлён-

но, очень насмешливо, с тою силой самоуверенности мудреца, которой, среди людей, обладают только одни литературные критики и которая всегда является верным признаком неизлечимой духовной безграмотности. Он совершенно неестественно колебался, струился, точно марево в поле, но его фигура всё-таки не теряла реальных очертаний человеческой фигуры. И всё вокруг женщины текло, кружилось, опьяняя её любопытством, немножко жутким.

– Да, – повторил Павел Волков, – я решил продолжать роман самостоятельно. Мне бы вот только найти женщину, вернее – убедить вас, что именно я – тот, кто предназначен вам Фоминым.

И, вопросительно глядя на неё, он с досадой сказал:

– В этой проклятой действительности устроено как-то так нелепо, что без женщины шага нельзя ступить. Да и скучно без неё...

– Если я правильно поняла вас... – начала женщина и остановилась, сосредоточенно прислушиваясь, как в ней растёт и греет её какая-то смутная, но серьёзная мысль.

– Да? – настойчиво спросил он, наклоняясь к ней, и не исчез, когда горничная внесла поднос с чаем.

– Две чашки, Глаша.

– Две?

– Ну да, боже мой...

Кивнув головою вслед горничной, человек спросил:

– Это – тоже эманация Фомина?

Чтоб не отвечать ему, женщина наклонила голову, а он принял это как её утвердительный ответ.

– Не понимаю, зачем нужно воплощать воображение в такие грубые формы!

– Вы будете пить чай?

Павел Волков выпрямился, уныло говоря:

– Вы бы ещё водки или коньяку предложили мне. Нет, очевидно, Фомин не дописал вас, вы не знаете, как вам нужно вести себя со мною, и вот между нами, вместо романа, разыгрывается смешной водевиль. Положительно – я не знаю, – что делать? Для полной моей реализации необходима женщина, и, очевидно, эта женщина – вы. Но – вы явно незнакомы с вашей ролью или не поняли её, или же, повторяю, Фомин выдумал вас ещё более небрежно, чем меня. И, наконец, мне кажется, что вы не верите, – всё ещё не верите! – себе самой, а у меня нет средств убедить вас в том, что я – не призрак, не галлюцинация и не вашего, – поймите же это, прошу вас! – я создание не вашего воображения, не вашего, а – Фомина, – понимаете?

Женщина понимала, что всё это невозможная чепуха, дикая выдумка, и я надеюсь, что проницательный читатель вполне солидарен с нею в этом. Конечно – только в этом. Я тридцать лет знаю проницательного читателя как человека страшно здравомыслящего, и моё уважение к силе его разума особенно укрепляется тем стойким упрямством, с которым проницательный читатель умеет скрывать от самого се-

бя пошлейшую бессмысленность его трудной и даже мученической жизни.

Меня сердечно умиляет священное благоговение, с которым читатель относится к фантастически неудобной для него, но им же созданной действительности, меня восхищает тот ужас собственника, который испытывает читатель каждый раз, когда чья-нибудь бунтующая фантазия поднимает свой дерзкий и бесполезный голос против действительности, этой мелко сплетённой и крепкой сети бесчисленных нелепостей, – против сети, которая тащит читателя куда-то, как селёдку в рассол, в тузлук ¹. Я уважаю читателя за то, что он, безгранично гибкий и терпеливый материал мой, не протестует, когда я, за счёт моего воображения, делаю читателя интереснее, умнее и лучше, чем он есть на самом деле. Я знаю, что это отступление совершенно неуместно, но у меня неожиданно возникло лирическое желание сказать читателю искреннейший комплимент, а для похвалы человеку одинаково удобны всякое время и всякое место.

Я продолжаю рассказ о романе, который не написан.

Итак – женщина не верила, но она решила вести себя серьёзно, не только из опасения сойти с ума, нет! – смутная мысль её приняла определённые очертания.

«Почему я не могу делать то, что удаётся Фомину? Вероятно – выдумать не так трудно и опасно, как родить».

Задумчиво глядя на гостя, она сказала:

¹ рассол для соления рыбы и икры (астраханск.) – Ред.

– Насколько я помню, роман Фомина...

Но, прервав сама себя, спросила, ласково улыбаясь:

– Как это делается? Как он создал вас?

С такой же улыбкой, хотя и наклеенной извне на лицо его, Павел Волков ответил голосом более мягким:

– Но знаю, право. Я как-то сразу понял или почувствовал, что существую, меня зовут Павел Волков, я блондин и так далее. Неудачный и тяжёлый роман мой надо объяснить, кажется, тем, что я, человек размышляющий, анализирующий, занят исключительно самим собою, всё же остальное, весь так называемый внешний мир является для меня предметом или источником моих размышлений. Всё извне существующее толкает меня внутрь самого себя, а изнутри что-то рвётся во вне, – вообще я создан для жизни очень беспокойной, тревожной, и, должно быть, конечная цель моя – найти самого себя среди хаоса различных явлений, собрать себя во что-то целостное, очень острое и легко проникающее в глубину тайн. Теперь мне кажется, что я существовал и до Фомина, но в форме разобщённых, каких-то облачных кусков, не объединённых даже и в то неясное целое, чем являюсь пред вами, чем-то не связанным ни мыслью, ни чувством, ни желанием, указующим цель мою. Вот всё, что я могу сказать о себе.

Тут женщина успокоенно подумала:

«Это – обыкновенный человек. И – довольно скромный. А я – вовсе не схожу с ума. Просто – я вижу что-то, чего не

знаю. И, конечно, тут не без фокусов».

– Создан же я, очевидно, для того, чтоб утвердить какую-то придуманную Фоминым истину, – слышала она голос Волкова. – Ведь, должно быть, все эманации сочинителей ввергаются в жизнь для утверждения различных истин? – спросил он.

Женщина не решилась ответить утвердительно – всё-таки пред нею был чужой, подозрительный человек, – зачем вскрывать пред ним маленькие тайны мира сего? А вдруг действительно существует иной мир и в нем живут люди двух измерений, вроде японских мышей? ²

Затем она совершенно разумно сообразила, что если пред нею просто человек, то, разумеется, он должен обнаружить это, когда она начнёт кокетничать с ним. Освободив из-под пледа достаточно обаятельную ножку, покачивая ею, она сказала:

– Мне помнится, что Фомин задумал вас именно таким, как вы характеризовали себя...

– Я – рад, – сказал Волков, – конечно, это очень тяжёлая роль, но – я рад! Ведь – уж если создан, так надо жить!

– Да, – согласилась женщина, подумав немножко. – Дальше вы действительно должны встретить женщину из тех, которые, знаете, чего-то ждут, что-то решают и, неожиданно для себя, делают как раз не то, что решили. До конца дней, по крайней мере – до старости, жизнь кажется им неисчер-

² карликовые бесхвостые чёрно-белые мыши – *Ред.*

паемой, но они не имеют в себе той жадной и дерзкой силы, которая слепо черпает наслаждения жизни. А, главное, им кажется, что где-то близко, около их, за всем, что уже испытано, скрыта ещё одна, величайшая и сладостная тайна, – открыть её, насладиться ею физически и духовно – вот чего они ждут! Я уверена, что лично я – не из таких женщин, и Фомин, создавая вас, едва ли думал обо мне. Хотя, вы знаете, эти писатели...

Павел Волков негодуяюще взмахнул рукою.

– Да, да, я понимаю, что вы хотите сказать. Это – ужасно! Преступнейшее легкомыслие! Вы представить себе не можете, до чего много в мире воображаемом таких, как я, вы – и подобные нам, – незаконченных, недорождённых, уродливых существ.

– Разве? – огорчённо спросила женщина и недоверчиво прибавила: – Уродливых?

Но Павел Волков не ответил ей, продолжая всё более человечески живо, но тоном жалобы:

– Они думают, что образ, созданный ими, закреплён на бумаге и этим всё кончено, но ведь на бумаге остаётся только рисунок образа, а сам он исходит в мир и существует, как я, вы, как психофизическая эманация, результат распада атомов мозга и нервов, нечто более реальное, чем эфир. Ведь вы же знаете это.

– О, конечно! Да. Почему вы не сядете к столу?

Он подошёл, сел, как сделал бы это всякий другой чело-

век, и было ясно, что её маленькие хитрости не замечены им. Вздохнув, женщина попыталась представить себе жизнь в мире недоконченных людей и – не могла, потому что перед нею тотчас закружились люди знакомые, среди которых она ещё не встретила необходимого ей человека, совершенного, как музыкальный инструмент в руках гениального музыканта. Она знала, что совершенный человек – это тот, кто умел бы не только удовлетворять все её желания в момент возникновения их, но мог бы предугадывать и возбуждать желания. Ни о чём не спрашивая, он должен уметь на всё ответить. Не нужно, чтоб он много говорил, но он должен всё чувствовать, понимать и ни в чём не обвинять её, если только она сама не захочет видеть себя виноватой.

Думая об этом, она внимательно слушала тихий голос гостя.

– А тут ещё привходит нечто, видимо, неизбежное: Фомин наполнил меня определённым психическим содержанием, я – ожил, существую, но в следующий момент ощущаю, что в меня извне вторгаются качества и мысли излишние, противоречащие тому, что уже есть во мне. Чувствуя, что это лишнее уродует меня, я не мог оттолкнуть его, потому что в тот момент я ещё не имел личной воли к жизни, а Фомин был окружён как бы облаком истечений его психофизической эманации, это – как вы знаете – очень плотная и подвижная среда, которая разрушила бы меня, попытайся я проникнуть сквозь неё до сознания Фомина...

«Допустимо, – думала женщина, – что предо мною действительно ещё не человек, а – начало его, существо, которое я могу закончить, наполнив его тем, что необходимо совершенному человеку. Это – проще того, что сделано Пигмалионом...»

Она закрыла глаза, слушая странно прозрачный голос, – ничего не заглушая, он не мешал ей думать о своём и слышать, как в деревне подпасок Кирька играет на гармонике, где-то далеко поют девки и, как всегда, собаки лают на луну, очень благообразную и яркую, почти как солнце, лучи которого кто-то гладко причесал.

– И вот теперь я не могу понять, что во мне от Фомина, создателя моего, что – от других персонажей, созданных им и спутанных со мною, и, наконец, я чувствую в себе мысли Фомина, не имеющие никакого отношения ко мне как герою его романа и вообще к роману. Я ведь уже говорил вам, что Фомин, – это небольшой дом умалишённых или, если хотите, дорога, на которой непрерывно бродят различные образы, текут разнообразные, взаимно отрицающие одна другую мысли. Например: лично я не могу думать, что природа не знает, чего хочет, и, умея создавать всё, создаёт бесчисленное количество уродливого, лишнего – это уж афоризм Фомина, совершенно не нужный мне, а таких пустяковых афоризмов я ношу в себе немало. Но может быть, я и создан только для того, чтоб явиться носителем пустяков? И, нако-

нец, я не знаю главного: должен ли я быть добрым человеком или злым?

Улыбаясь, женщина протянула ему руку.

– Но – вы не должны знать этого, – сказала она ласково, утешительно. – Интерес и смысл вашей жизни именно в том, что вы – человек, плохо различающий добро и зло.

Дёргая пуговицу фланелевого пиджака, человек недоверчиво спросил:

– Вы в самом деле так думаете?

– Да, я именно так понимаю вашу роль! Если б вы умели различать добро и зло, вам, я уверена, было бы очень скучно. А так – интереснее!

Павел Волков задумался, явно сомневаясь в чём-то. И было неестественно, что он не обращает внимания на её руку, что сделал бы всякий другой мужчина на его месте.

– Д-да, – сказал он. – Но – для кого же это интересно?

– Для меня. Для вас. Для читателя, наконец...

– Гм... Для читателя?

Он провёл ладонью по волосам своим, по глазам и, усмехаясь, покачал головою.

– Не находите ли вы, что это довольно жестокая забава? Подумайте: нас заставляют испытывать бесчисленное количество неприятностей, стравливают друг с другом, как – извините! – псов, для того, чтоб создать драматические коллизии, нас треплют, как игрушки, и всё для того, чтоб какой-то читатель, видимо скучающий человек, развлекался этим? Не

слишком ли остроумно: заставить страдать одних людей для развлечения других? Кажется, это не моя мысль, а Фомина, но – право – хорошая мысль! Фомин, в сущности, порядочный человек. Он – не самоуверен, а по моему мнению, это верный признак порядочности. Иногда он, бросив перо, спрашивает себя: зачем я это делаю, зачем пишу? Сам он не любит страданий, они органически противны ему, но, к сожалению, для писателя нет иного материала, кроме несчастий...

Женщина подвинулась ближе к нему и спросила:

– Скажите, – как вы делаете эти ваши фокусы с тенью и зеркалом?

Сказав это, она почувствовала, вероятно, то же, что чувствует охотник, ружьё которого выстрелило помимо его желания, случайно. Это смутило её, она тотчас ласково коснулась руки гостя.

– Не сердитесь.

Но под её рукою не оказалось ничего кроме шероховатой вязаной скатерти; это было неиспытанно неприятно и даже – жутко. Но стало совсем плохо, когда раздался сердито укоряющий голос:

– Но – вы настоящая, обыкновенная, так называемая реальная женщина! Зачем же вы меня мистифицировали?

Павел Волков встал, нелепо взмахнул шляпой и повторил с гневным недоумением:

– Какой смысл в этой мистификации?

Он поплыл на террасу, несколько секунд постоял в двери, струясь в лунном сиянии.

– Послушайте! – говорила женщина, медленно подходя к нему. – Ведь это – невероятно! Невозможно убедить меня, что вы...

Идя, она впервые убедилась, что земля действительно вращается вокруг оси своей, вращается с быстротой нелепой, ненужной.

– Читатели! – сказал Павел Волков, удаляясь, и было ясно, что он вложил в это слово обидный, порицающий смысл. Шёл он, держа трость под мышкой, и, достав из кармана перчатки, натягивал их на пальцы, как это делают знаменитые провинциальные актеры, играя роли героев. Но женщине казалось, что пальцы перчаток расправляются так быстро, как будто бы их надували воздухом.

В хитром освещении луны его фланелевая фигура принимала призрачный, зелёноватый оттенок. Вот она достигла берега пруда, группы берёз и потерялась, исчезла в серебре стволов, в тёмном блеске воды.

Конечно, женщина протёрла пальцами глаза; в подобных случаях всегда прибегают к этому жесту, я не помню автора, который решил бы забыть об этом жесте. Было очень тихо, если не говорить о вое собак, почти непрерывном. Следовало бы стенным часам пробить полночь или сове крикнуть раза два, но – я не хочу рассказывать читателю о том, чего не было. Известно, что я – строгий реалист, суровая, грубая

правда моих рассказов признана всеми критиками, которые умеют читать, те же, которые читать ещё не выучились, вполне согласны с первыми в оценке моих достоинств, а главное – недостатков. Лично я крепко убеждён, что мои недостатки последовательно и непрерывно развиваются и что на этом пути я уже скоро достигну полного совершенства. Но – это в будущем, а пока предо мною стоит вопрос: как закончить рассказ? Мне кажется, что это сделать просто, например:

Женщина вздохнула, глядя в даль, там, за круглым, тёмным, мерцающим оком пруда, чёрной, огромной ресницей поднимался мохнатый лес.

Это – неплохой образ: во всяком случае оригинальный. Пруды, озёра, моря – всегда казались мне очами земли, а в юности, которая стремглав убежала в недостигаемую никому, кроме памяти, сказочную даль, в юности я даже писал такие стихи:

Синими очами океанов
Смотришь ты, земля моя родная,
На сестёр твоих, золотые звёзды,
На золотые звёзды в небе синем.
О, какой тоскою светят в небо
Синей ночью очи океанов...

И – так далее, всё – о – о – о! Очень синие стихи.

Кстати – для критиков: земля – звезда, это я взял взаймы у В. Гюго. Но – дальше.

Над чёрной массой леса медленно всплывали три звезды, женщина вспомнила, что это Волхвы Ориона. Пустынно было небо; краденый свет луны самодовольно затмил честное сияние звёзд.

Здесь напрашивается уподобление, весьма полезное для многих, а для некоторых – обидное; однако я его не сделаю, это отвлекло бы меня в сторону, а рассказ-то надо кончить. Да.

Тихо прикрыв дверь на террасу, женщина ушла в маленькую и, разумеется, уютную комнатку, тёплое гнездо, где она высиживала цыплят своей фантазии. Крепко потирая холодные щёки ладонями, она встала пред зеркалом, – оттуда на неё смотрели почти чужие глаза, округлённые недоумением, испугом. Эти глаза не верили, что маленькая, изящная женщина, которую они так великолепно украшают...

«Он – едва ли человек, – думала женщина. – Будь он человеком, мужчиной... В сущности, он почти оскорбил меня».

Она села к столу, поправила отстегнувшийся чулок и долго сидела, играя ножницами для ногтей. Потом стала полировать ногти замшей, – лучше всего думается, когда полируешь ногти. Очень жаль, что Иммануил Кант не знал этого. У женщины было много мыслей, но все они тревожно колебались, как пылинки в луче солнца, ни одна из них не нравилась ей, и это возбуждало досаду. Ей надо было сделать усилие над собою, чтоб заставить себя думать о Фомине.

И она подумала, что хотя этот мужчина некрасив, неук-

люж, но всё же он самый интересный человек среди её знакомых. А подумав так, женщина с изумлением догадалась, что она давно, и всё время, думает именно о Фомине и что всё, что пережито ею десять минут тому назад, – просто игра её души с человеком, который забавен больше других.

Тогда, раскрыв бювар, она торопливо, тонким английским почерком написала Фомину:

«Милый Антипа Титыч!

Четверть часа тому назад я пережила нечто невероятное, фантастическое, безумное; прибавьте сюда все другие, более сильные эпитеты, если Вы имеете их, и всё-таки они не определяют с достаточной глубиной и точностью того, что пережито мною.

Знаете, кто был у меня в гостях? Павел Волков, герой Вашего романа, человек, о котором Вы так много и хорошо говорили мне, но которого я всё же – помните? – не могла достаточно ясно представить себе. Вы не должны думать, что у меня был какой-то реальный человек, похожий на него, нет, это был именно сам Павел Волков, созданный Вами и – простите! – мало похожий на человека вообще. Он назвал себя воплощением Вашей творческой силы, существующим в какой-то совершенно непонятной для меня форме: внешне – это человек, но внутренне – что-то бездушное, незаконченное, неспособное подчиниться даже сексуальным эмоциям нормального мужчины. Он довольно прилично одет, но неловок и действительно как-то весь недорождён. Жаловался, что, создав

его, Вы забыли о нём, и, возмущённый этим, он решил жить самостоятельно, тою силой, которой Вы недостаточно наделили его. Так я поняла Вашего героя.

Пожалуйста, не думайте, что я сошла с ума, галлюцинировала, – ничего подобного. И доказательством моего душевного здоровья должно служить то, что я отнеслась к этому странному всё-таки визиту вполне спокойно, разумно и критически.

Ваш герой решительно не понравился мне. Я уверена, что с таким человеком в центре событий роман Ваш будет неудачен. Разве может быть что-либо интересное в жизни неинтересного человека? Он даже не особенно умён, этот Волков. Он не удался Вам, и Вы должны как-то переделать, переписать его. Во всяком случае Вам необходимо сделать так, чтоб это существо не шлялось по земле каким-то полупризраком, – я не знаю чем! – и не компрометировало Вас. Подумайте: сегодня он у меня, завтра у другой женщины, – он ищет женщину, как Диоген искал человека...»

Она перестала писать, подумав: не придаётся ли ей излишняя реальность этому случаю, и не смешно ли пишет она? И решила: пусть останется так, как написано, это забавнее!

Она писала ещё много, испытывая всё более острое желание уничтожить Павла Волкова. Зачем нужен он? Зачем вообще нужны неприятные, неудачно выдуманные люди?

А кончив письмо десятком ласковых слов, она позвала

горничную, велела ей плотнее закрыть окна, хорошенько запереть дверь на террасу и сказала ей:

– Вы, Глаша, лягте в соседней комнате, на диване; я чувствую себя не совсем хорошо и, может быть, ночью позову вас.

Потом разделась, легла в постель и, пытаясь представить, как Фомин отнесётся к её письму, уснула.

Через несколько дней Фомин ответил:

«Я прочитал милое и удивительно остроумное письмо Ваше сейчас, скучной дождливой ночью; холодно в комнате, холодно в душе у меня. Я был в гостях, шёл домой пешком, дождь барабанил по зонтику, я думал о Вас, и – сложились стихи, конечно – неважные, но – поверьте – искренние!»

В стихах Фомин говорил:

Навстречу странному виденью
Один иду тропой земной,
Моя тоска свинцовой тенью
Влачится по земле, за мной.

Я никого не беспокою
Тем, чем больна душа моя –
Неисчерпаемой тоскою
О тайном смысле бытия.

Ведь мне помочь не могут люди,
И я им – тож не помогу,

И кто из них меня осудит
За то, что я молчу, не лгу,
Не утешаю их словами,
Тоски моей им не дарю?

Я только с Вами, только с Вами
О ней шутливо говорю...

Женщина усмехнулась: Фомин забыл, что уже читал ей эти стихи весною, когда, вдвоём с нею, катался в лодке. Но, может быть, хорошо, что он забыл; в тот вечер она была настроена дурно и сказала ему, что такие стихи можно писать не менее сажени в одну ночь.

Дальше Фомин писал:

«И вот, придя к себе, нахожу на столе Ваше письмо, такое оригинальное, полное дружеского внимания ко мне, чем я не избалован, – и серьёзного отношения к моей работе. Спасибо Вам. Вы оживили в памяти моей этот жалкий роман и окончательно убили героя его. Я Взял рукопись, прочитал её, устыдился и разорвал на мелкие клочья. Теперь Павел Волков не придёт беспокоить Вас».

Дальше он писал всё то, что пишут женщине, когда хотят нравиться ей. В этих случаях пишут всегда льстиво, но иногда – искренно льстят.

Прочитав письмо, женщина задумалась, глядя в окно, в парк, – там сверкало скучное солнце осени, посвистывая, буянил ветер, падали жёлтые листья.

Вот и кончен рассказ.

Я не знаю, что после всего этого сделала женщина, но думаю, что она написала мужу:

«Прости, Павел, но я не могу больше жить с тобой».

Мужа этой женщины я тоже не знаю. Возможно, что это один из тех редких мужчин, от которых женщины не уходят. Мне кажется, что мужчины этого племени глухи, немые, хромы и вообще страшно уродливы или до того законченно несчастны и жалки, что несчастье их уже невозможно увеличить.

Следовало бы заключить этот рассказ пейзажем в лирическом тоне, но – не хочется.

И так – хорошо.